

Как мы сказали вначале, никакое осмысление философского дела Владимира Вениаминовича заведомо невозможно без специального внимания к его дискурсу. Этот дискурс – дискурс не просто философа, но и филолога, лингвиста, опытнейшего литератора-переводчика – крайне своеобразен, уникален в своей лексике, стилистике и поэтике, в комплексе своих приемов и средств; и его реконструкция – особая тонкая задача. Не входя в нее, скажем о другом. Искуснейшее владение всеми орудиями дискурса открывает перед философом немалые возможности злоупотребить этими орудиями: не столько напрямик утверждая, сколько протискивая и протаскивая с помощью риторических средств такие позиции, положения, которые нельзя защитить философскими средствами. Сегодня в культуре постмодернизма чрезвычайно распространено охотное и неограниченное использование этих возможностей злоупотребления: это – *терроризм дискурса*, отлично известный современный феномен. В русской мысли его предтеча – В.В. Розанов; он – любопытнейшее “недостающее звено”, стоящее между ядовитыми и изящными острословами-парадоксалистами старых времен и новейшими террористами дискурса, авторами лобовыми или, еще верней, ломовыми: дискурс у них – тот самый лом, против которого нет приема. И отнюдь неслучайно на всем протяжении творческого пути Бибихина сопровождает глубокий интерес к Розанову: ему очень ведомо было розановское искушение, искушение терроризмом дискурса. Исследователям предстоит выяснить, всегда ли философу удавалось преодолеть это искушение...

В этих скудных строках мы только назвали основные слова, указали главные вехи большой и самостоятельной философии, которую еще нужно тщательно изучать. Многое и многое еще остается сделать, прежде чем мы действительно сможем увидеть и понять *мир, подаренный нам способом Владимира Вениаминовича Бибихина*.

ФИЛОСОФ В. БИБИХИН

А.В.Ахутин

Сказать о Владимире Бибихине – философ, вовсе не значит назвать только его профессию, область занятий. Занимаясь делами и научными исследованиями, мы забываем, что дела ведутся, а исследования предприняты и распределены по специальностям в изначальной человеческой задаче – *пытании бытия*. Философия хранит память о человеке как испытателе бытия. В этом средоточии понимал философию, так сосредоточенно был философом и останется в философии В. Бибихин.

Пониманию философии как испытания свойственно понимать и другое: настоящая мысль есть *ступание* (со всеми приставками) куда не ступала нога человека, она требует отваги. Испытание бытия взаимно. Философская пытливость к бытию испытывает испытателя, меру его решимости “узнать себя”, испытать собственную способность вместить открываемое философским опытом, спознаться “с будущим в быту”, вынести свободу бытия.

На озабоченных людей философские опыты, затрагивающие настоящее, происходящее, могущее, часто производят впечатление, наоборот, отвлеченного, чтобы не сказать праздного, мышления. Между тем все дело философии со времен Платона – *только* обратить внимание. С первых слов о мире (“Мир”) и слове (“Язык философии”) В. Бибихин делится с нами своим вниманием к событию слова и мира, вовлекает в отвлечение к бытию, которого нигде нет и которое – вот, всё “целиком здесь и теперь” (Парменид), все “такое, какое есть” (Витгенштейн). Опыт этого внимания таков: чтобы успеть за ежесекундным успехом бытия, надо отступить, оставить все как есть, дать быть; чтобы сказать, – суметь дать сказаться. Только тут и так, в понимании, расширенном мыслью до касательства настоящего бытия, бытия как оно есть (что, впрочем, тавтология), впервые по-настоящему испытывается (испытывается и воспринимается) всё, что способны открыть в мире опыты восторга, ужаса, любви, отчаяния... иначе мы лишь обитатели местечка, удобно обжитого нашими личными “переживаниями” и общественными “пафосами”, огороженного и обставленного нашими вечными “ценностями”...

Вслушиваясь, как в фило-логическом внимании В.Б. слова, привычно значащие, что им положено, вдруг начинают говорить неслышанное, мгновенно озаряющее неожиданным, все меняющим смыслом (стоит только, например, уловить разные смысловые обороты слова “оставлены” в тезисе: “мы оставлены Богом!”), не трудно уловить направление его фило-софского внимания (попросту, это двоякая внимательность одной “филии”): философия обращает опытное внимание нашей бывалости в мире во внимательность к небывалому опыту самого мира. Для философов в изначальном (буквальном) смысле слова философия – это преданность оставленному *вне*: неведомому, несказавшемуся, непомысленному, это опыт небывалого, поставленный на себе. Тут общий корень философии и поэзии. Из этих корней “каменная задумчивость” В. Розанова, “мышление бытия” М. Хайдеггера, “молчание” Л. Витгенштейна, – ближайших собеседников В. Бибихина.

Словом, философская *теория* требует своей *практики*, бытия *на деле* жизни. Философия была для Владимира Вениаминовича делом, практикой, жизнью (разумеется, не манерой *его* жизни, а ее жизнью в нем). Потому в его речах – *говорениях* – о философских сюжетах и предметах ведущей была действительность самого дела

философии, событие, энергия мысли, возвращение продуктов, остатков (останков) бывшей философии (“терминов”, “категорий”, “дисциплин”, “систем”, “измов”...) в творящий огонь мысли – искры “всегда живущего” огня бытия, – а мысль обитает и происходит в речи живого языка, это ее стихия.

Чтобы коснуться вниманием мира, бытия, как того хочет философ, надо суметь стать, расположиться, распахнуться к миру, чтобы он мог коснуться умного (внимательного) средоточия твоей души и сказаться в ней. Речь В. Бибикина, звучащая странно для иного учебного уха, позволяет припомнить изначальный смысл слова *философия*: это речи “филии”, любви-дружбы, внимательной увлеченности, захваченности, если воспользоваться одним из любимых слов В. Бибикина. Говорю не о “художествах” его стиля, а о его философском истоке и смысле.

Живя в мире, где наука диктует, как надо правильно думать и говорить, и философию привыкли строить как науку о неких философских (метафизических) “предметах” – о мире, Боге, душе, бытии... Если же таковые предметы считают метафизическими иллюзиями, философии остаются еще проблемы познания, методологии, языка... Когда вспоминают традиционное определение – что философия это наука о первых началах и причинах – начала считают принципами, вроде аксиом в математике, о которых тоже можно рассуждать. В XX в., правда, вспомнили, что прежде чем рассуждать о предметах, каковы бы они ни были, их сначала нужно как-то иметь; что метафизических *предметов*, правильно, не существует, потому что предметы вообще появились, и сам мир стал “предметным” в результате неких архитектурных сдвигов в недрах метафизики. Феноменология обратила внимание на то, что “данности”, считающиеся первыми, сначала как-то, откуда-то (кем-то?) даны, что в том, *как* всё, что дано, дано (*there is; il y a; es gibt*), *как* всё есть, с самого начала замешана мысль, понимание (“конститутивная работа сознания” Э. Гуссерля, “понимание бытия” М. Хайдеггера, “игра языка” Л. Витгенштейна), что это *понимание*, только потому, что оно всегда уже – априорно – случилось и стало просто быть, принимается за фактическую наличность (например, “предметов”). Если “мета” метафизики отсылает к миру сверхчувственных предметов, надстраиваемым над чувственным, “физическим” миром, то фундаментальная онтология М. Хайдеггера – а мысль В. Бибикина коренится в ближайшем соседстве – *обращает внимание*, возвращает внимание в первичность мышления бытия, где нет “предметов” и рассматривающих их со стороны “субъектов”. Тут и так обитают “первые начала и причины”, занимающие мысль в философии.

Философия не наука о первых началах, она вообще не наука и не о... Философия – это вхождение, погружение *в* первоначало. Здесь мышление, моя собственнейшая собственность, будет мышлением бытия, если окажется *его* собственностью, – не о чем, а *чьим*. Первый

опыт философии, который философу приходится поставить на себе, есть опыт возвращения к первоначалу, даже первоначинанию, “когда ничего еще не было” – ни мира, вечного или сотворенного, ни даже богов, ни имен, ни слов, ни знаков, ни, подавно, понятий и систем. Речь не о беспредпосылочной мысли, а о том, как устроен человек, – на что брошен, куда послан, что за удел ему ниспослан. Опыт философски радикальной эпохе – это опыт разучивания, опустошения, нищеты, соседства со смертью и безумием. Чтобы дать в себе место полноте мира, опустошенность должна быть полной. “Для полноты надо, чтобы многое с человека осыпалось или было бы уж пусть хоть насильственно содрано как одежда. Надо, чтобы он взял себя вместе с пределом, границей, имена которой нищета, сон, смерть, молчание. Если он не поддастся панике, у него откроется второе дыхание. Или впервые откроется дыхание”¹. Так ведь и Платон, чтобы пояснить характер философского эроса, придумывает в “Пире” полубога Эроса, сына богатства и бедности, витающего между небом и землей, обретающего всё, что имеется, в миг спускающего всё, что приобрел, вновь у начала начал, один на один с еще не тронутым, небывалым, всегда новым миром. Нет больше, кажется, не только что логик, герменевтик, методов, подходящих понятий, но вообще слов, звуков, жестов – разве что удивление, каменная задумчивость, амехания, молчание перед “первыми вещами”, с которых осыпались вторичные имена. Философ перекликается в этом звучащем и понимающем молчании с поэтом, ищущим для первых вещей первые слова.

Философ таков (а В.Б. такой философ), потому что такова философия: мысль, ходящая по лезвию между всем и ничто, ведь только на границе с ничто находится всё. Это открытие Парменида напомнил нам и возвестил как последнюю новость, новее и горячее всех “перестроечных” новостей, В.Б. в лекциях “Чтение философии”, весенним семестром 1992 г. Философия выдвигает свои первоначала и основоположения только для отвода глаз, ее дело не ставить очередных слонов на черепаха, а быть там, где не положено, вернуться туда, где ничего не положено, где, кажется, все, как у нас, навсегда потеряно и очень даже может ничего больше не начаться. Может или нет, она – философия – этого не знает, но ни за какие царства ни на земле, ни на небе своего незнания, своей нищеты, “роскошной бедности” не отдаст. Тут человек не ходит с дрессированной мыслью на поводке от вещи к вещи, из царства в царство, а проваливается в мысль, в ее провал, куда во всем мире один только человек может провалиться, потому что он-то и есть провал, провал в начало, в первое начало, в начинание. Куда он, человек, может быть возведен, Бог знает, но ничего в нем не понять, если не знать, что в нем все может быть провалено и ничего больше не начаться. Это условие “первых начал и причин”: чтобы не стать вторым,

¹ Бибихин В.В. Из жизни русского слова // Слово и событие. М., 2001. С. 122.

вторичным начало всегда должно быть *другим*. Начало есть *первое* начало, когда оно *другое*, когда оно снова-начинание. “В важном смысле можно сказать, заостряя, что настоящее начало может быть только другим, беря настоящее и другое во всех смыслах”². Бытие открывается благодаря человеку, с помощью человека как начинание, а это значит: может и не получиться, никаких онтологических машин нет.

Словом, философия, осмысленная не как *учение* о началах, а как припоминание и пробуждение изначального мышления, оказывается вещь весьма странной. Именно эта, присущая всякой строгой философии, странность образа мысли и речи создает трудности, которые чаще всего считают сложностью спекулятивного учения. Странность философской речи В.Б., кажущейся столь прихотливо своевольной, ни в одной запятой не манера, она вся исходит из ответственного и самоотверженного опыта первоначинания понимающей мысли и осмысленного слова. Отсюда особенности его философского бытия, редкостные, драгоценные качества, нынче почти напроць утраченные и обесцененные.

В.Б. не сообщал результаты своих изысканий во всеоружии “научных аппаратов”, а доверчиво приглашал к своему философскому очагу. Здесь, где думают, ни учено, ни красно не говорят. Философия В.Б. существует как сосредоточенный интимный разговор с самим собой, откровенно идущий на публике, словно впервые начинающийся перед лицом начинающих. Так – топчась на месте, кружась, отказываясь от сказанного, попадая в тупики – начинают понимать, а в этом начинании суть философии. Публично оскандалиться, не найдя нужного – первого – слова, здесь лучше, чем уверенно прикидываться последним словом. Подходы, попытки, околичности – складывают условия возможного *рождения* мысли. В самом деле, если философия и учит чему-то, то этому: как мысль зачинается, происходит, не получается, сбивается, снова встает на ноги... Потому в “детском лепете”, в беззащитной царственности младенческого жеста В.Б. находил нечто гораздо более родственное философии, чем в компетентном оперировании понятиями. Таково сократическое начало философии. Так, словно ученик перед Учителем, публично исповедуясь и спотыкаясь в первых неуверенных мыслях и словах, начинал богословствовать св. Августин. Так подвешивал свое я-бытие на паутинке cogito Декарт. Так на грани окончательно в любой момент умолкания, безумия и самоубийства отыскивал, что можно ясно сказать, Л. Витгенштейн.

Философия В.Б. существовала как *чтения* – даже, настаивал он, *говорения* – но говорения, сначала набело записанные и продуманные. Записано, однако, не то, о *чем* предстоит сказать, а то, чему подлежит *сказаться*. Это опять не прием, а суть дела. Ведь парадокс

² Библихин В.В. Другое начало. СПб., 2003. С. 334.

философии в том, что то, чего она касается – бытие, мир, язык, понимание, – не что-то среди чего-то, но то, *благодаря* чему вообще есть что-то и может быть сказано. Это нельзя высказать, но можно дать сказаться, как сказываются в мире, не будучи ничем в нем, пифагорейские числа, Гераклитов логос, эйдетический космос Платона, ум Аристотеля, событие бытия, озаряющее всё, что и как есть.

Когда слово касается события бытия, оно само происходит как событие. Мысль им не выражается, она в нем совершается. Какая-нибудь метафизическая теорема, например, *esse et unum convertuntur*, – только след, знак, примета некогда случившегося здесь события. А это значит, мыслящее слово не информирует, а трансформирует. Когда удастся подумать, случается понять – тот, кому это удалось, уже не тот. В.Б. умел, как никто, разрушать дискурсивные *машиальности*, повергать в амеханию, открывая странную самостоятельную жизнь того, что мы считали нашими “инструментами”. Из его амеханий не выйдешь тем же, кем заходил послушать. Говорить для В.Б. значило больше *слушать*, пробуждать странность скрытого смысла и подвергаться его действию. На себе можно было испытать, как настоящая мысль меняет подумавшего. В этом увлекательность, трудность и даже опасность думающей речи В.Б.

В.Б. владел многими языками. И этим он обязан, может быть, не только природной способности, но и чуткости к мыслящей энергии языка (в смысле В. Гумбольдта). Касательство бытия происходит в языке – “доме бытия” по выражению М. Хайдеггера. Философу надо быть своим в этих домах, их не заменить ни концептуальными клетками, ни логическими каркасами. В.Б. много переводил с древних и новых языков. Важно, что опыт перевода был для него философским опытом. В самом деле, что значит, что всеобщее бытие обитает в разных домах? Всякий перевод переводит мысль в другой дом, это всегда значимое переосмысление, подобно тому, как всякое понимание есть перевод, событие языка. Это значит: переводчику – и философу – не стоит рассчитывать на унифицированную абстракцию внеязыковых значений, можно полагаться лишь на присутствие другого языка (языка другого) в моем мыслящем разговоре с собой и таким образом на наше соучастие, сообщничество в мысли, которая всегда – пока мысль – разговор, перевод с языка на язык, переход из мира в мир. Искусные переводы В.Б. имеют собственно философское значение не только потому, что, к примеру, Парменид, Кузанский, Хайдеггер заговорили по-русски, благодаря нему, но более потому, что они при этом сохранили *свой* язык. Обычно философскую речь переводят с языка автора не только на язык читателей, но и дальше, на язык неких усредненных, технических понятий, словно заранее зная, что *должен* сказать философ (так Платона переводят не только на русский, английский... а сразу на язык некоего усредненного платонизма). Перевод В.Б. можно назвать *обратным*: переводя, он переводит мысль философа с языка этих ничьих терми-

нов обратно, на его собственный язык, где только эти понятия и обретают настоящий смысл. Так в публикуемом ниже отрывке из “Чтения Парменида” можно слышать, как мыслитель, давно уже говорящий на языке общих понятий, заговаривает изнутри живого греческого языка, где мысль Парменида происходила и остается происходящей. Так и мысль Хайдеггера в переводе В.Б. не теряется в бездомных пустырях, а передается вместе с характером ее речевого бытия, словно изнутри обживая дом русского языка.

Владимир Вениаминович Бибахин не создавал философскую систему, он вводил нас в философию, потому настоящую, что не переходящую, и настолько вечную, насколько всегда новую. Благодаря его слову и жизни, есть шанс припомнить, зачем вообще философия.

Первый семестр “Чтения философии” В.Б. закончил словами: “Вы видите, что мы сделали несколько шагов только, а в лесу трудностей немало. Их станет еще больше. Мы должны только продолжать терпеливо читать, и помнить, что философию невозможно пройти – даже на врача можно выучиться за шесть лет или больше, а нет такой меры труда, после которой философ имел бы право сказать, что он овладел своей профессией. И нет позора для спортсмена, для врача, для ученого уйти из профессии, даже *надо* это сделать, чтобы не оказаться смешным и ненужным – но философ, который оставит философию когда бы то ни было, даже в последний день жизни, этим отменит и всю свою прежнюю философию, окажется то есть, что он никогда и не знал, что это такое”. Владимир Вениаминович Бибахин хорошо знал, что это такое.

* * *

В этом номере Ежегодника мы публикуем очередной текст Владимира Вениаминовича Бибахина, публикуем, приходится добавить, посмертно. Здесь говорится о философии Парменида; придет пора говорить и о философии Бибахина, но уже сейчас эти строки читаются иначе, чем были прослушаны в свое время: слышнее слов, обращенных к нам, разговор со своими, с теми, о ком говорится.

Публикуемый текст – это одна лекция из курса “Чтение философии”, прочитанного в двух семестрах 1991/92 гг. на философском факультете МГУ³. Речь шла, казалось, о простом: философские тексты надо уметь прочитать философски. “Научить читать, – цитирует В.Б. Шарля Пеги, – вот единственная и вот истинная цель верно понятого образования; лишь бы читатель умел читать, и все спасено”. “Мы *читаем*. Читать значит во всяком случае обращать внимание. Мы думаем, что философия это *обращение* внимания”. В.Б. говорил о В.В. Розанове, вчитываясь в его труд “О понимании”, никем, думаю, и по сей день непрочитанный, затем читал – как впервые, как если бы его никто не читал – зачитанного В.С. Соловьева. Выяснилось, что философия в таком вслушивающемся чтении и перечитывании

³ Шесть первых лекций опубликованы в журнале: Точки. Puncta. М.: Институт св. Фомы, 2005. № 1/2 (5). С. 26–119.

впервые оживает, приходит в себя – не философия Розанова или Соловьева, а сама, первая, где вместе с Розановым и Соловьевым говорят Аристотель, Парменид, Хайдеггер. Если философов не проходят, не “преодолевают”, распределив мимоходом в колумбарии “учений”, а читая дают им говорить, все еще возможно *понимание* – понимание о котором труд Розанова, но и поэма Парменида, и ум Аристотеля, и дух Гегеля, и *всеединство* Соловьева, и *мышление бытия* Хайдеггера...

Курс делился по семестрам на две части. В первом семестре (16 занятий) читались В. Розанов и В. Соловьев, весь второй (15 занятий) был посвящен чтению Парменида, разумеется, по-гречески, причем, как умел В.Б., не утопая и не топя дело в филологической эрудиции, будто это вовсе не “мертвый”, а живой и близкий язык, главное же, давая Пармениду говорить и помогая нам услышать его изнутри живого греческого языка, а не в терминах усредненно-школьной метафизики.

Мы выбрали для публикации место, где В. Б. обсуждает едва ли не основополагающий тезис Парменида, сказанный, однако, столь уплотненно (“гулко, словно в тишине”), что разночтений и толкований его не счесть (фр. В 2 DK).

Немного о том, что касается предыдущих чтений. Внимание обращается к слушанию слова, где обитает смысл и происходит мысль. Слушая понимающее слово, мы вступаем в сферу безусловного. “Все в нашем мире обусловлено, но ничем не обусловлено то, что есть мир, и есть слово; и ничем не обусловлено то, что слово *слышно*”. Парменид в поэме – курс-дита, слушающий слово Богини-Истины, он обращен во внимание, захвачен вниманием тому, что есть. Вступление (фр. 1) пронизано глаголами *несут, несет, несетя* и причастиями *несущийся, несомый* – всё говорит о захваченности, устремленности всем существом, всей страстной душой, кони *мчат* по градам и весям, путь *несет*, Парменид *восхищен*. Если речь о мысли, то уж никак не о логических операциях, если речь о *пути* (ὁδός), то уж не о *методе*, и бытие тут – само, а не в понятии или представлении. Мифология и поэзия не мешают философии, а дают ей нужный размах. Парменид увлечен, вовлечен во что-то ему не подвластное, его заносит в места странные, где сходятся “колеи” ночи и дня, где “людьми не топтано”. Здесь разом, вдруг открываются врата, восходит утренний свет и всё выходит на свет, на пороге зияющей бездны, на тайной черте. В этом божественном месте из-за всего, что есть (было, будет), восходит, выступает, выдвигается *бытие*, скрывавшееся повсюду, как связка *есть* во всем, что говорится. “Когда Парменид садится на свою колесницу, он едет *объявить этого неведомого царя*, нового; уже скрывать нет надобности; и сравнивать с прежними господами тоже нет надобности, настолько новый властитель их всех прочнее, нерушимее. Он их весомее”.

В божественном месте, перед лицом Богини Парменид, как ребенок, неговорящий. Тут человек умолкает, чтобы заговорили вещи. Таково философское слово. Ошибка, что в философии кто-то говорит свои концепции о мире, – слово дается миру (Гераклит: “Не меня, а логос выслушав...”) или философия не удается. Мы вдвойне удаляемся от слова Парменида, когда берем его сами и говорим не только за вещи, но и за философа. «Нас спасает “твердая буква”». Сказанное Парменидом идет оттуда, где “не хожено человеком”, до сих пор не хожено, до сих пор это новость. Здесь надлежит

испытать, узнать или “бестрепетное (нетрясающееся) сердце неспрятанного (истины)” или “принятое смертными”.

Истина (ἀλήθεια) открывается как бездна (χάσμι ἀχανής). “Свет, непотаенность – *открытие тайны*, не в том смысле, что тайна перестает быть тайной, а наоборот, в том смысле, что впервые в середине мира, в существе вещей открывается незакрывающаяся тайна – как с размахом вдруг открывается бездна, *потому что от открытия тайны*, от обнаружения *непотанности тайна будет становиться всё больше и больше тайной*, она *тайна вдвойне*, сначала своей неисследимостью, а потом еще и открытием самой себя, т.е. своим наращиванием”. Истина – как оно есть, а люди живут в том, что ими *принято* (а другое упущено) (δόξα), в принятом же на веру, в отличие от сущего как оно есть, нет истинной верности, поэтому полагающийся на принятое колеблется, шатается, ищет опоры, делает себе опоры, готова надежное крушение. Должно испытывать, с чем имеешь дело, с полнотой или принятым, но и в принятом находить *достойное принятия*.

Далее следует фр. 2, о котором речь пойдет в публикуемом чтении.

Текст воспроизводится по машинописному экземпляру. Опечатки и очевидные исправления внесены в текст без упоминаний. Неясности машинописи, слова, вставленные для пояснения, а также литературные ссылки даются в квадратных скобках.

ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ПАРМЕНИД (лекция б)

В.В. Бибихин

Университет 17.03.1992

Можно было бы, читая эту странную, в своей отчетливости, [фразу], как если бы рассматривали осколок древней вазы, где тело Вакха изображено еще в профиль, а лицо и поднятые с чашей руки уже анфас, и в том мире, где так изображали бога на чаше, – можно всерьез спросить, могло ли там кино стать больше, чем игрушкой (а “кино”, т.е. кинематограф, движущее изображение, там было: в виде игрушки; точно так же как паровая машина была, в виде игрушки), – была ли там необходимость в кино, когда глаз привык, имел навык не меняющееся изображение, сделанное так, что оно движется в своей неизменности, видеть как движущееся. В Новое время, с появлением перспективы (перспектива буквально окаменила изображение, сделала его неподвижным, так что смешно думать будто изобретение перспективы сводилось к этой технике геометрического изображения расстояния) как в науке, так в искусстве появилось унифицированное пространство, в котором предметы застыли, и тогда смогла появиться фотография, у нее был благодаря живописи